

Гузель Яхина

**ЭЙЗЕН**





Гузель Яхина

# ЭЙЗЕН

роман-буфф



**РЕДАКЦИЯ** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
**ЕЛЕНА** АСТ  
**ШУБИНОЙ** МОСКВА

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Я90

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

В оформлении переплёта использована фотография АНДРЕ КЕРТЕСА

Книга публикуется по соглашению с литературным агентством *ELKOST Intl.*

**Яхина, Гузель Шамилевна.**

Я90 Эйзен : роман-буфф / Гузель ЯХИНА. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2025. — 537, [7] с. — (Проза Гузель Яхиной).

ISBN 978-5-17-173173-1

Гузель Яхина — автор трех романов: “Зулейха открывает глаза”, “Дети мои”, “Эшелон на Самарканд”, лауреат престижных премий “Книга года”, “Большая книга”, “Ясная Поляна”. Ее произведения были экранизированы и имели успех на театральных подмостках. Новый роман посвящен загадке великого Эйзенштейна. Человек сложный, мятущийся, он прятался за сотней масок и никем не был разгадан. Создатель отчаянно пропагандистских лент первых лет советской власти или шедевров мирового кино? Легендарный герой-любовник или ледяное сердце? Эгоцентрик, утонувший в собственных страхах, или великий научный ум?

Эта книга — приглашение поразмышлять, восхититься, ужаснуться, влюбиться или оцепенеть от неприязни, а местами просто посмеяться в голос. Именно такая палитра эмоций бушевала в каждом, кто имел когда-то радость или несчастье общаться с Эйзенем.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-173173-1

- © Яхина Г.Ш.
- © Бондаренко А.Л., художественное оформление
- © ООО “Издательство АСТ”

*Казахстану —  
самой гостеприимной стране*





# СОДЕРЖАНИЕ



## **ЦИРК**

9

## **МАТЬ**

75

## **ПЕРСОНА**

139

## **ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ**

207

## **ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА**

245

## **ОТЕЦ И СЫН**

315

## **ЭНТУЗИАЗМ: СИМФОНИЯ СТРАХА**

389

## **ПОКАЯНИЕ**

433

ПОСЛЕСЛОВИЕ

533

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

535

БЛАГОДАРНОСТИ

537



# Цирк



Мир,  
жалкий мир  
зову на бой!

**ДЗИГА ВЕРТОВ**



Сердце его разорвалось в тот миг, когда нога в жёлтом американском ботинке взлетела для очередного па. Боль брызнула из треснувшей грудной клетки и затопила пространство: огненно-красные ковры, хрустальные люстры, оркестр из духовых и струнных. Цепляясь за талию партнёрши — известной актрисы с правильным советским лицом, — он оползал вниз: по скользкому бархату платья на скользкий паркет, а затем куда-то дальше — быстрее, больше.

— Сергей Михайлович! — закричала актриса словно издали — из-под потолка с пшеничным гербом? — Серёжа!

Вальс распался на нестройные звуки, оборвался. Мир ушёл в расфокус и оплыл, как жжёная киноплёнка. Перед взором — круговерть чьих-то лиц, также очень известных и очень правильных, а сейчас потерявших форму и слитых в единый кисель.

— Врача! — булькало вокруг. — Расступитесь! Воздуха!

Кисель из сталинских лауреатов — пожалуй, это даже смешно. Он хотел пошутить, уж это-то умел всегда, злее и обильнее прочих. А сейчас — разучился. Кажется, и дышать разучился тоже. Рыбой разевал рот, зубами хватался за воздух — а не ухватишь! Вот уж и правда — смешно.

В кисель врезались два ярко-синих круга. Нимбы? Нет, всего-то тульи фуражек. Военных фуражек.

— Носилки сюда.

А хуй вам с маслицем! Сам не дамся. Толкая пахнущие воском половицы — пятками, локтями, коленями, — он

кое-как поднялся и встал на ватных ногах. Пол шатало, как палубу корабля в шторм.

— Нельзя! — клокотало рядом. — Ложитесь немедленно!

Сощурившись от напряжения, он слепил холодные и отчего-то совершенно мокрые ладони в два плотных кукиша и выстрелил ими в сторону синих фуражек. Не попал. Держа дули высоко поднятыми и шаркая полусогнутыми ногами по багряному ковру с золотой каймой, заковылял к выходу.

■ До кремлёвской больницы на Воздвиженке добирался сам — благо от Дома кино была близко, минутах в десяти езды. Все силы уходили на то, чтобы крутить руль, потому на дорогу и по сторонам почти не смотрел. И если бы не чёрная эмка НКВД, что медленно двигалась впереди и сигналами разгоняла встречные авто, непременно бы врезался в кого-нибудь или угодил в сугроб.

Из машины вышел тоже сам. Через двор уже бежали к нему встревоженные звонком с самого верха санитарки и врачи — не успев накинуть шубы, в одних только халатах, дыша молочным паром. Хотел идти навстречу (и прочь от тархтящего рядом воронка), но сумел сделать единственный шаг, затем полетел — не в снег, как показалось сначала, а в чьи-то тёплые руки, пахнущие йодом и камфарой.

Очнулся в просторной одиночной палате. Долго щупал взглядом интерьер — шахматная плитка на полу, окно в многостворчатой раме, в углу тёмное инвалидное кресло на колёсах, — пока не наткнулся на крашенные белым стол и стулья с гнутыми ножками, очевидно для посетителей. В тюремном госпитале вряд ли держали бы венскую мебель — значит, он всё ещё в кремлёвке, а воронка улетел восвояси без добычи.

Но ничто не помешает эмке вернуться в любой час дня или ночи и увезти его — в тюрьму? сразу на расстрел? — да хоть бы и усадив для удобства в эту самую коляску чёрной кожи.

Представил, как его подкатывают к стене красного кирпича, шерблённой от бессчётных пробоин. Залп — и он мешком валится вниз, на землю. Ещё залп — и пустая каталка продолжает дёргаться и елозить колёсами под градом пуль.

Чёрное плохо будет смотреться в кадре.

— Есть другое кресло, посветлее? — спросил без предисловий у вошедшей медсестры в накрахмаленном платке.

Той пришлось наклониться очень близко, чтобы расслышать его бормотание.

— До того, как пересесть в кресло, вам ещё очень далеко, — ответила строго.

■ На рассвете явилась эта нелепая женщина с обвислым, как у бульдога, лицом. Наверняка провела ночь в приёмном покое, требуя допустить её к больному. Но врачи в кремлёвке — церберы, своё дело знают: сон пациента превыше всего. И только утром свершилось: пурпурная февральская заря едва полыхнула в окне, а женщина уже суетится по-хозяйски в палате, пододвигая к его изголовью стол со стульями, раскладывая вещи и рассаживаясь — явно намереваясь остаться надолго.

— Юлия Ивановна, уйдите, — потребовал он, возвышая голос до предела.

Но голоса не было слышно за скрипом мебели и стуком женских каблуков.

— Видеть вас не хочу, мне от вас хуже, — сообщил, дождавшись тишины.

Голоса не было слышно даже в тишине.

Он понял, что открывает рот беззвучно.

А женщина обнаружила, что больной бодр и, видимо, не прочь поговорить.

— Ты выздоровеешь, Рорик, — произнесла с напором, выразительно двигая алыми от помады губами.

Он хотел было поморщиться — и от нестерпимо алых губ, и от стучащих каблучков, и от этого давно позабытого “Рорика”, — но лицевые мышцы слушались плохо. Оставалось только прикрыть глаза и сделать вид, что снова погружается в дрёму.

Женщина вскочила и поправила на нём одеяло, подоткнула со всех сторон. Ей казалось, верно, что именно так и должна вести себя заботливая мать.

Стараясь не дышать её одеколоном — и зачем было опрыскиваться, направляясь в палату к больному сыну? — он переждал, пока женщина вновь отсядет на стул.

Она и правда приходилась ему матерью. Ничего, кроме бесконечного удивления, этот факт не вызывал. Впрочем, сейчас впору и затосковать: здесь, в палате, он был полностью в её власти.

— Я вылечу тебя, Рорик. Я вновь буду тебе читать — как раньше, как всегда.

Ему сорок восемь лет, но он абсолютно беззащитен перед этим её благомысленным порывом.

— Я всё принесла. Я знаю, это поможет лучше, чем лекарства.

Как часто она всё же использует местоимение “я”. Он давно уже приучил себя не раздражаться по этому поводу, а сейчас, распластанный по больничной койке, даже испытывал некоторое умиление от подобной эгоцентричности.

Он прилежно держал веки сомкнутыми и лежал без единого движения, но женщина не умолкала.

— Я буду читать, даже когда ты спишь. Психиатры, так любимые тобой, утверждают, что спящий человек продолжает слышать, пусть и не осознавая этого.

Значит, имитировать сон и хотя бы на время прерывать опасную инициативу — не получится.

— Когда я последний раз читала тебе, Рорик? — это уже под шорох листаемой бумаги. — Лет двадцать назад? Не могу вспомнить.

Мать всегда забывает неприятное — напрочь. Вырезает из памяти неудобные моменты, как монтажница — неудачные кадры. А он всё помнит, за двоих. Последний раз она читала ему в ноябре тысяча девятьсот двадцать седьмого. Он как раз доделывал “Октябрь” и несколько недель просидел в монтажной, собирая из отснятых пятидесяти тысяч метров нужные четыре. Не собрал — ослеп от напряжения. Врачи прописали кротовью жизнь: круглые сутки в темноте, желательно с прикрытыми веками. Мать примчалась ночным поездом из Ленинграда (жили тогда ещё в разных городах), читала три дня — и он прозрел, отправился на домонтаж. А она отправилась восвояси, с пунцовыми от слёз глазами: за краткое время вместе они успели разругаться вдрызг. Это было восемнадцать лет назад. С тех пор больше ему не читала. Врачи считали, что излечил его отдых, а сам он знал, что — чтение.

До этого мать читала ему в двадцать шестом, когда премьеры “Броненосца” в Германии состоялась без участия авторов и он сутки проплакал, не вставая с кровати. А до этого совсем давно — в двадцать четвёртом, когда провалился последний поставленный спектакль и он порывался завязать с режиссурой.

Были времена — материнское чтение помогало. Правда, времена эти остались в какой-то иной жизни, ещё до того, как он стал самим собой. Нынче же пытаться вылечить его старым способом так же смехотворно, как называть дорево-